АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ · X

Н. А. МЕЩЕРСКИЙ

Древнерусская повесть о взятии Царьграда фрягами в 1204 году

Четвертый крестовый поход, в завершение которого в 1204 году Константинополь был взят „крестоносными болванами“,[1] — событие чрезвычайного значения для всего средневекового мира. Падение столицы Византийской державы в течение ряда десятилетий сказывалось на ходе истории в странах Востока и Запада. Оно положило конец более чем восьмисотлетнему существованию могущественной империи Нового Рима. Значительно возросли и оживились экономические и культурные связи между народами.

Это политическое событие не могло не оказать влияния на ход дел в тогдашней Руси, тесно связанной с Византией в вопросах религии. Сохранилось послание римского папы Иннокентия III к русским епископам, в котором глава римской церкви предлагает им признать его верховную власть над собой, так как Византия, которой они ранее подчинялись, перестала существовать. Послание это, как известно, осталось без ответа.

Основные источники, повествующие о четвертом крестовом походе и взятии Константинополя крестоносцами, — это французские записки Жоффруа Виллардуэна, записки маршала Шампани, одного из руководителей похода, „История“ знатного византийца Никиты Хониата, лично переживавшего осаду и штурм столицы латинянами, и наконец древнерусская повесть „О взятии Царьграда от фряг“, написанная, по всей вероятности, тоже очевидцем и участником изображаемых им событий под свежими впечатлениями пережитого.

I

Древнерусская повесть „О взятии Царьграда от фряг“ давно уже известна науке по Новгородской первой летописи (Синодальный список), но до сих пор не подвергалась обстоятельному изучению ни с какой стороны.

Отдельные замечания по поводу повести были сделаны еще Н. М. Карамзиным. „Современный новгородский летописец, — писал он, — повествует весьма обстоятельно о взятии Константинополя и сказывает, что крестоносцы в Софийской церкви нашли 40 кадей чистого золота,

[1] К. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса, т. V, Госполитиздат, 1938, стр. 197.

кроме сосудов. Вероятно, что он слышал все описанные им подробности от какого-нибудь очевидца, земляка своего".[1]

В 1872 году П. Савваитов, комментируя издание „Путешествия" в Константинополь новгородца Добрыни Ядрейковича, в булущем — новгородского архиепископа Антония, который был в Византии в 1201 году, писал: „Не был ли он (Антоний, — *Н. М.*) в Царьграде и во время взятия и разграбления его крестоносцами? Этим можно было бы объяснить, почему новгородский летописец так подробно и обстоятельно повествует об этом событии". Далее, приведя выдержку из вышецитированного примечания к „Истории государства Российского", П. Савваитов замечает: „Не был ли, прибавим, этот земляк Добрыня Ядрейкович?"[2]

Несколько соображений по поводу текста повести и относительно передачи в ней собственных имен крестоносцев были приведены издателями Новгородской первой летописи (ПСРЛ, т. III, 1841).

Примечания были перепечатаны с указанием источника и в последнем издании Новгородской первой летописи, вышедшем под редакцией А. П. Насонова в 1950 году.[3]

Наиболее полно освещена повесть в первом томе академической „Истории русской литературы": „Новгородская летопись XII—начала XIII века в отличие от южнорусских и среднерусских летописей не склонна вводить в изложение готовые литературные памятники. Исключение представляет находящаяся под 1204 годом повесть о взятии крестоносцами Царьграда". Далее указывается, что „Новгород в конце XII и начале XIII века был в постоянных сношениях с Царьградом по церковным делам. Накануне осады его крестоносцами туда ездил знатный новгородец Добрыня Ядрейкович, будущий архиепископ новгородский Антоний, археологически точно описавший Царьград перед его разгромом. Знали в Новгороде и о главной достопримечательности Царьграда — Софии — по описанию ее в Сказании о Софии Цареградской. Таким образом, почва для интереса новгородцев к завоеванию Царьграда была подготовлена".[4]

Вслед за тем в очерке мы читаем краткое изложение содержания повести. В соответствии с примечанием издателей Новгородской первой летописи автор очерка считает, что в тексте повести „идет пропуск, и повесть возобновляется концом речи крестоносцам императора Филиппа или папы Инокентия III, которые запрещали им «пакости деять Гречыкой земли»".[5]

Вопрос о том, перевод или компиляция эта повесть, разрешается автором очерка в пользу самобытности повести. Свидетельством тому является ее язык, который не носит каких-либо отчетливых следов иноязычного оригинала. Язык повести, по наблюдениям автора очерка, ничем не отличается от языка других частей Новгородской первой летописи XIII века.

Далее в очерке идет ссылка на Карамзина, который будто бы высказал предположение, „не составлена ли эта повесть на основании рас-

---

[1] Н. М. Карамзин. *История государства Российского*, т. III. СПб., 1818, прим. 149.

[2] П. Савваитов. Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград. СПб., 1872, стр. 8, прим. 17.

[3] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 46, 49.

[4] История русской литературы, т. I, ч. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 302. Автором данной главы очерка является член-корреспондент Академии Наук СССР В. П. Адрианова-Перетц.

[5] Там же.

сказа Добрыни Ядрейковича, который, возможно, задержался в Царьграде из-за военных действий".[1] Автор очерка приводит доводы в доказательство допустимости такого предположения, указывая, что составитель повести использует те же названия достопримечательностей Царьграда, что и Добрыня Ядрейкович в своем „Путешествии": ипподром называется „подрумье", Влахерна — „Лахерна", форум Константина — „Конный торг". С другой стороны, в очерке подмечено: „Вряд ли однако в Добрыне—Антонии следует предполагать очевидца описанных событий; если бы он сам был в Царьграде во время погрома, то в его описание вошли бы хоть какие-нибудь отголоски несомненно сильного впечатления от разыгравшихся в Царьграде событий. Тщательно отмечая место нахождения каждой достопримечательности города, Добрыня не удержался бы от того, чтобы сообщить об уничтожении многих из них «фрягами» и об увозе их на Запад". Поэтому вывод в очерке, в конечном счете, таков, что „Добрыня—Антоний со слов очевидца описал осаду и погром с той же обстоятельностью, с какой он за несколько лет до этого описал все богатства и всю пышность царьградских церковных сооружений".[2]

Коротко говорит о повести Д. С. Лихачев в своем очерке древнерусской литературы, включенном в „Историю культуры древней Руси".[3]

Этим в сущности ограничивается, если не считать отдельных примеров из текста повести в работах о языке Новгородской первой летописи П. А. Лавровского, Б. М. Ляпунова и Е. С. Истриной, всё, что сделано до сих пор исследователями по поводу интересующего нас памятника. Был лишь намечен ряд проблем, связанных с изучением повести, однако ни одна из них не исследована сколько-нибудь обстоятельно. Между тем, повесть представляет для нас несомненный и всесторонний интерес как источник по истории Византии, как самобытное произведение древнерусской литературы и, наконец, как памятник древнерусского литературного языка старшего периода. Однако она остается еще настолько неисследованной, что мы не имеем ее критического издания и не можем пока прочитать ее правильный, первоначальный текст. Решению некоторых проблем, связанных с изучением повести, посвящена настоящая статья.

II

Текст повести дошел до нас в ряде списков XIII—XIV столетий, которые можно подразделить в основном на две группы. К первой группе списков следует отнести все списки Новгородской первой летописи, как старшего, так и младшего изводов; ко второй группе — все списки Еллинского летописца 2-й редакции и стоящие в тесной связи с последними: Софийскую первую летопись (списки Карамзина и Оболенского, так называемой 1-й редакции) и зависимые от нее списки Московского летописного свода конца XV века и Воскресенской летописи XVI века.

Первая группа представлена следующими списками повести.

1. Синодальный список Новгородской первой летописи, старшего извода, писанный уставом на пергамене. Повесть занимает листы 64—72 рукописи, следовательно, относится к первой части списка, напи-

---

[1] В действительности у Карамзина приведенного утверждения мы не находим. Не оказало ли влияние на автора очерка вышеприведенное место из Савваитова (ук. соч., прим. 5)?

[2] История русской литературы, т. I, ч. 1, стр. 303.

[3] История культуры древней Руси, т. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 199.

санной вторым почерком XIII века.[1] Список хранится в Рукописном отделении Государственного Исторического музея в Москве, в Синодальном (Патриаршем) собрании, под номером 786. Текст повести занимает стр. 46—49 по изданию 1950 г. В дальнейшем изложении обозначаем этот список буквой *С*.

2. Комиссионный список той же летописи, младшего извода. Рукопись относится к середине XV века, писана полууставом, повесть занимает в ней лл. 126—130. В издании 1950 года текст повести помещен на стр. 240—246. В дальнейшем обозначается буквой *К*.

3. Академический список той же летописи, младшего извода, XV века. Варианты по этому списку указаны в издании А. Н. Насонова, так же как и по Воронцовскому и Толстовскому спискам, скопированным с последнего в конце XVIII и начале XIX века, поэтому не представляющим интереса в отношении к восстановлению первоначального текста повести. Академический список в дальнейшем обозначается буквой *А*.

Ко второй группе рукописей следует причислить списки Еллинского летописца 2-й редакции. Сюда относятся следующие списки.

1. Список Библиотеки Академии Наук СССР, шифр: 33. 8. 13. Список относится к последней четверти XV века. Текст до сих пор не издан. Краткое описание рукописи дано в статье Д. С. Лихачева.[2] Текст повести занимает лл. 724в—726г. Список по многим признакам носит следы последней его переписки новгородским писцом. В дальнейшем обозначается буквой *Б*.

2. Чудовский список, 51/353(7), относится ко времени не позже середины XV столетия. Текст повести помещен на лл. 451—461. Рукопись описана М. Н. Сперанским.[3] По всей вероятности, она переписывалась в Москве. Хранится в Государственном Историческом музее. В дальнейшем обозначается буквой *Ч*.

3. Кирилло-Белозерский список, № 86, начала XVI века. В нем текст повести занимает лл. 335—345. Хранится в Государственном Историческом музее, в Синодальном собрании. В дальнейшем обозначается *Кир*.

4. К этой же группе следует отнести и списки Софийской первой летописи, обозначаемые А. А. Шахматовым как принадлежащие к 1-й ее редакции. К сожалению, эти списки мне были недоступны, а издание Софийской летописи в „Полном собрании русских летописей", т. V, опускает текст повести. Уже А. А. Шахматов указал, что в этой летописи под 6711 годом находим повесть „О взятии Царьграда...", дополненную „Сказанием об иконе пречистыя Одигитрия, о ризе Влахернской богородицы".[4]

Отмеченное указание позволяет не сомневаться, что в Софийскую летопись текст повести попал не из Новгородской летописи, а именно из Еллинского летописца, где мы также вслед за повестью читаем тексты упомянутых А. А. Шахматовым сказаний. Очевидно к Софийской же летописи восходит повесть по тексту Московского летописного свода конца XV века, изданного в 1949 году М. Н. Тихомировым

---

[1] Мы соглашаемся с палеографической датировкой Б. М. Ляпунова, поддержанной Е. С. Истриной и принятой в последнее время А. Н. Насоновым.

[2] Д. С. Лихачев. Еллинский летописец второго вида и правительственные круги Москвы конца XV века. Труды ОДРЛ, т. VI, 1948, стр. 99—110.

[3] М. Н. Сперанский. Библиографические материалы, собранные А. Поповым. Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1889, кн. III.

[4] А. А. Шахматов. Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. Изд. АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 211—212, прим. 2.

по Уваровскому (полов. XVI века) и Эрмитажному (XVII век) спискам.[1] В издании М. Н. Тихомирова текст повести занимает стр. 101—103. В дальнейшем Московский летописный свод обозначается буквой *М*.

Наконец, к Московскому летописному своду следует отнести заимствование текста повести и Воскресенской летописью (XVI век). В этой летописи текст занимает лл. 695—704, по изданию 1794 года — стр. 133—139.

Во всех отмеченных списках и изданиях текст повести один и тот же и не представляет никаких отличий, кроме незначительных разночтений стилистического характера. Что же касается того места, в котором издатели Новгородской летописи усматривали и усматривают пропуск, то оно во всех списках читается абсолютно одинаково. Если в него внимательно вчитаться, то оно не обнаруживает никаких следов пропуска в тексте и дает вполне понятный смысл. В этом месте передается увещание крестоносцам, которое автор повести вкладывает в уста немецкого цесаря Филиппа и римского папы Иннокентия III.

Приведем это место полностью по списку *С* (пунктуация современная).

„Цесарь нѣмечьскыи посла къ папѣ въ Римъ, и тако увѣчаста: яко нѣ воевати на Цесарьградъ; нъ яко же рече Исаковиць: всь град Костянтинь хотять моего царьства, — тако же, посадяче его на прѣстолѣ, поидете же къ Иерусалиму въ помочь; не въсхотять ли его, а ведете и опять къ мнѣ, а пакости не деите Грьчьской земли“.

Смысл приведенного отрывка таков: „Царь немецкий послал [Алексея] к папе в Рим и они [оба] так увещевали [крестоносцев] не воевать против Царьграда: «Поскольку Исакович сказал, что весь Константинополь желает его воцарения, то, посадив его на престол, идите на помощь Иерусалиму, если же его не захотят, то приведите его опять ко мне [в Рим], а обиды не творите Греческой земле»“. Ошибка издателей Новгородской первой летописи, заподозривших здесь пропуск в тексте, состояла в том, что они начало слов увещания усматривали только после приведенной прямой речи Исаковича. На самом деле увещание начинается словами: „Яко нѣ воевати на Цесарьградъ“, а прямая речь Исаковича включена в это увещание в качестве подчиненного предложения, в свою очередь зависимого от другого придаточного — условного.

При таком, единственно правильном понимании текста отпадает необходимость усматривать в нем какую бы то ни было несохранность, и надобность в предположении пропуска сама собой отпадает.

Хотя список *С* древнее, чем все остальные списки, почти на двести лет, однако его никоим образом нельзя считать ни первооригиналом повести, ни даже непосредственной копией с первооригинала. Это доказывается искажениями текста повести в списке *С*, которые в ряде случаев могут быть исправлены путем сопоставления с другими списками, хотя относительно более поздними, но вернее сохранившими особенности первого списка.

Наиболее ярко бросаются в глаза искажения текста в следующих местах:

1. Рассказывается о бегстве сына Исаака, царевича Алексея (в тексте он называется Исакович), из Константинополя. Для этого он скрывается на одном из итальянских кораблей в бочке с тройным дном.

С дает чтение: „И внидоша въ тъ корабль, иде же бяшеть, и вся мѣста обискаша, а изъ бъчькъ [род. п., мн. ч.] гвозды [вин. п., мн. ч.]

[1] ПСРЛ, т. XXV, 1949.

вынимаша". Раньше шла речь лишь об одной бочке, в которой прятался Исакович. Следовательно, лучшее чтение представляет собою „бъчькы" (род. п., ед. ч.) и „гвоздь" (вин. п., ед. ч.), как читаем в рукописях Еллинского летописца (*Б*, *Ч*, *Кир*).

2. Далее, перед рассказом об отречении от престола Исаака в *С* читаем: „Исакъ цесарь, много съжаливъси о градѣ и о царствѣ своемь и о граблении манастырьскыхъ, еже даяста фрягомь злата и срѣбро, посуленое имъ".

В этом чтении сомнительны два места: во-первых, сочетание „о граблении манастырьскыхъ". В таком случае следует считать последнее слово субстантивированным прилагательным в роли дополнения в родительном падеже множественного числа к отглагольному существительному. Подобную синтаксическую конструкцию нельзя считать типичной для древнерусского языка XIII века.

В *К* вместо этого читаем: „о граблении монастырском", т. е. употребляется согласованное определение, выраженное относительным прилагательным, соответствующим родительному падежу объекта; во всех других списках: „ограбление монастырское". Вероятно, наиболее правильным следует признать чтение, имеющееся в Еллинском летописце (*Ч*, *Кир*), где мы встречаем: „о граблениих монастырскых", т. е. употреблено такое же согласованное определение во множественном числе. В обоих случаях употребление определения, выражаемого относительным прилагательным, в соответствии с родительным падежом объекта при отглагольных существительных — явление очень обычное в древнерусских памятниках XI—XIII веков, например, в нашем же тексте ниже встречается форма: „про зажжение градное" (пожар города).

Второе замечание относительно приведенного выше контекста касается формы родительного падежа единственного числа (или винительного падежа множественного числа) „злата". Это, несомненно, следует считать ошибкой, так как во всех списках, кроме *С*, это слово стоит в винительном падеже единственного числа — „злато", как и следующее за ним слово „срѣбро".

3. Далее, в рассказе об избрании императором Николая Канава список *С* дает чтение: „и ту быша с нимь въ святѣи Софии 6 дний и 6 ночии". То же чтение приводится и во всех списках Еллинского летописца (*Б*, *Ч*, *Кир*). Однако один список *К* дает другое чтение, которое значительно более соответствует смыслу контекста и потому может быть принято за первоначальное: „и ту бысть снемъ", т. е. „происходило собрание". Ошибка переписчика *С* в этом случае состояла, вероятно, в том, что он принял незнакомое ему существительное „снемъ" за диалектную разновидность формы местоимения „и" в творительном падеже единственного числа мужского рода и исправил эту форму на общепринятую литературную.

4. Требование „фрягов", предъявляемое ими к императору Мурцуфлу, в *С* передано следующим образом: „Даи намь Исаковиця, ото [*буква* ѿ] поидемъ къ нѣмечьскуму цесарю, отнеле же есме послани". При чтении *С* роль подчинительного союза цели выполняется предлогом „от". Список *К* взамен этого содержит слово „даждь". В *А* читаем: „и тако"; во всех списках Еллинского летописца имеем: „и абие"; в *М* — союз „да". Очевидно, в первописке имелся старый русский подчинительный союз цели „ать", „оть",[1] который в качестве устарелого и специфически рус-

[1] Ср. в „Поучении" Ильи Новгородского: „взборанивати женам, оть не ходять к вълхвам" (История культуры древней Руси, т. II, стр. 116).

ского не был узнан позднейшими переписчиками, и они, каждый по-своему, заменяли его по смыслу союзами, употребительными в церковнославянском письменном языке XV века.

5. При описании кораблей крестоносцев, участвовавших во взятии Константинополя, в *С* мы читали такие слова: „Приступиша же на 40 корабль въ великых; бяху ж изременани межи ими, в нихъ [*ркп.* нихъхъ] же людье на конихъ, одени в брънe, и коне ихъ“.

В этом тексте следует прежде всего исправить чтение, принятое во всех изданиях Новгородской первой летописи, включая издание 1950 года. В них мы читаем: „на 40 корабль въ великых“. Такое чтение представляется бессмысленным. „Въ“ не является предлогом, относящимся к прилагательному „великых“, а представляет собой лишь часть флексии родительного падежа множественного числа 2-го склонения мягкой разновидности: „кораблььь“, подобно тому, как мы имеем ниже в том же тексте форму „кораблевь“ и „царевь“. Это очень частая для древнерусского языка флексия. „Великых“ же следует понимать не как местный падеж, который был бы единственно возможен при предлоге „в“ на вопрос „где“, а родительный падеж множественного числа в согласовании с предшествующим существительным. Форма „кораблевь“ имеется в этом месте и во всех остальных списках повести.

Во-вторых, обращает на себя внимание слово „изременани“. Подобного слова мы не встречаем нигде, кроме данного памятника. Его легче всего понять как форму причастия страдательного залога прошедшего времени во множественном числе мужского рода. В этом случае началом слова, от которого образована данная форма, был бы глагол „изременати“, „изременаю“. Именно такой глагол мы и находим в „Материалах“ И. И. Срезневского со ссылкой только на данный текст. Этот глагол, по всей видимости, следует понимать как образованный от существительного „ремень“ со значением „окутать ремнями“. Между тем, такое значение никак не соответствует контексту. По смыслу в этом месте следовало бы искать название боевого корабля, приспособленного для перевозки конницы. Если мы привлечем для сравнения другие списки повести, то увидим, что все они согласны с *С*.[1]

Вне всякого сомнения, текст в этом случае испорчен. Для правильного его понимания следует обратиться к греческому тексту „Истории“ Никиты Хониата. Последний, перечисляя вооружение крестоносцев, упоминает о подобных кораблях и называет их „дромонами“: „В течение трех лет было построено в Венции сто десять дромонов для перевозки конницы“.[2]

По всей вероятности, в первописке повести и читалось это греческое слово „дромони“, оставленное без перевода. В этом случае общий контекст следует восстановить как: „бяху же и дромони“ между ними. Слово „дромони“ встречается в древнерусских памятниках, в частности в Еллинском летописце. Что же касается глагола „изременати“, то следует признать его никогда не существовавшим.

6. Вызывает сомнение рассказ о бегстве из Константинополя императора Алексея Мурцуфла. В *С* мы читаем: „Цесарь же Мюрчюфолъ крѣпляше бояры и все люди, хотя ту брань створити съ фрягы, и не

---

[1] Следует отметить, что М. Н. Тихомиров, подготовлявший к печати текст Московского летописного свода, прочитал в соответствующем месте сочетание „и зременани“, однако никак не комментирует его значения (см.: ПСРЛ, т. XXV, 1949, стр. 102).

[2] См.: Никита Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина, т. II. СПб., 1862, стр. 227.

послушаша его: побегоша от него вси. Цесарь же побеже от нихъ, и угони е на Коньнемь търгу, и многа жалова на бояры и на все люди".

В приведенном отрывке непонятным представляется второе предложение: кто же кого догоняет? Буквальный смысл: цесарь убежал от них и догнал их на Конном торгу. Это, разумеется, бессмыслица! В данном месте все списки Еллинского летописца согласны с *С*, списки же *К* и *А* предлагают чтение: „угониша е"—т. е. „они догнали их". Смысл и в этом чтении не ясен. Наиболее достоверно признать текст испорченным и исправить по смыслу: „и угониша и", т. е. „они догнали его".

7. Наконец, повидимому, следует читать вместо: „и тако бысть възятие Цесаря града велико" (так в *С*) — „взятие Цесаря града великого", т. е. родительный падеж единственного числа мужского рода прилагательного с древнерусской флексией. Вероятно, последнее слово в первописке повести или в непосредственном оригинале *С* было написано в конце строки с выноской буквы „г", которой и не заметил переписчик, поняв „велико" как краткое прилагательное и согласовав его в роде с существительным „взятие". Все остальные списки согласуют прилагательное с существительным „града" и дают членную форму родительного падежа единственного числа, свойственную книжному церковно-славянскому языку: „великаго".

Перечисленные замечания дают основание восстановить первоначальное и правильное чтение текста повести и одновременно наводят на мысль о том, что Новгородскую летопись, в частности список *С*, нельзя признать источником, откуда заимствовалась повесть в Еллинский летописец, порой сохраняющий более правильное чтение. Очевидно, тексты Еллинского летописца опираются на какой-то другой, не дошедший до нас протограф.

III

Ценность повести как исторического источника несомненна. Она определяется прежде всего относительной беспристрастностью, так сказать, „нейтральностью" изложения событий. В то время как Виллардуэн рисует события с точки зрения крестоносных рыцарей, а Никита Хониат выражает отношение аристократической части византийского населения к гибели Византии, повесть написана лицом, непосредственно не пострадавшим от событий и не принимавшим в них активного участия. Виллардуэн явно замалчивал или смягчал бесчинства крестоносцев в захваченной ими столице и превозносил военные доблести своих соратников.[1] Никита Хониат горько и гневно изобличал насилия врагов над населением города, но, несомненно, склонен был их преувеличивать. Повесть не скрывает грабительств и насилий крестоносцев, но автор ее не хочет оправдывать и византийскую знать во главе с императором. Поэтому к показаниям русского автора во многих случаях следует относиться с бóльшим доверием, чем к остальным источникам.

Обращает на себя внимание в повести полное отсутствие в ней какого бы то ни было религиозного прагматизма, столь характерного для мировоззрения историков феодальной эпохи.

Автор повести нигде не объясняет бедствий, постигших Византию, гневом божества или возмездием за грехи ее жителей. Наоборот, он склонен подчеркивать исключительно социальные и политические при-

---

[1] См.: Сборник документов по социально-экономической истории Византии. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 229—230.

чины поражения византийцев и столь быстрого захвата врагами их столицы. Прежде всего причиной гибели империи он называет „сваду цесаревь“, т. е. междоусобные ссоры императоров. Повесть показывает, как во время штурма Царьграда бояре отказываются его защищать и во главе с императором и патриархом позорно бегут из захваченного врагами города. Автор подчеркивает, что доблестно защищавшие городские стены лишь немногочисленные отряды греческих воинов и наемных варяжских дружинников, верных своей присяге, погибли, будучи изрублены мечами латинян, ворвавшихся в город.

Если мы сравним описание боевых действий, изображенных в повести, с тем, что о них сообщают другие источники, то не сможем не отметить большой точности изображения. Так, автор повести с полной топографической достоверностью, как очевидец, рассказывает о расположении сухопутных сил крестоносцев под стенами столицы: „Приступиша къ граду, солнчю въсходящю, противу святому Спасу, зовемыи Вергетисъ, противу Испигасу, сташа же и до Лахерны“.[1] (Испигас — это, несомненно, название ворот в западной части стены Константинополя, откуда вела дорога в Пиги, пригород столицы, εἰς πήγας; по названию ворот обозначался и район города).

С неменьшей топографической тщательностью, опять-таки с точки зрения очевидца, указываются границы кварталов, охваченных пожаром при первом штурме столицы: „и подрумье (ипподром) и до моря, а семо по Цесаревъ затворъ и до Суда погорѣ“. Это крайний юго-восточный угол столицы между Пропонтидой и Золотым Рогом (Судом). Отсюда можно сделать предположение, где жил автор повести в Константинополе, когда он описывал события. Очевидно, он жил в части столицы, прилегающей к Золотому Рогу, причем к северу от Цесарева затвора — цепи, преграждавшей доступ в Золотой Рог неприятельским судам.

Чрезвычайно точным следует признать указание повести на такую подробность, как корабль крестоносцев, прибитый ветром к городской стене во время штурма Константинополя.[2] Интересно указание на количество крестоносцев, убитых при отражении первого штурма, 9 апреля 1204 года: „Нъ фрягь избиша близъ 100 муж“. Это позволяет критически отнестись к хвастливому заявлению Вилардуэна о том, якобы город с 400 000 населением был взят крестоносцами с потерей лишь одного рыцаря.

Точным является свидетельство повести о том, что после удачного штурма 12 апреля крестоносцы, уже фактически овладев городом, не решились продвигаться в нем до следующего утра и провели ночь на месте, где была ранее ставка императора Мурцуфла,[3] и лишь с восходом солнца вошли в св. Софию.

Заслуживает полного доверия подробный рассказ повести о применении крестоносцами разнообразных боевых средств. Детальное и точное их описание обличает в авторе повести лицо, хорошо знакомое с „техникой“ военного дела и морского боя. Обращает на себя внимание также то, что в полную противоположность, например, Никите

---

[1] Ср. „Хронологические выписки“ К. Маркса: „Сухопутное войско с сущи идет вокруг гавани и разбивает лагерь перед Влахернскими воротами“ (Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 196).

[2] Ср. „Хронологические выписки“ К. Маркса: „Удачный порыв ветра подогнал к одной башне два корабля епископов Суассона и Труа так близко, что с марсов можно было перекинуть мосты на стену“ (Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 198).

[3] Ср. в „Хронологических выписках“ К. Маркса: „При наступлении ночи латиняне отступают к захваченной части стены“ (там же).

Хониату автор повести, упоминая лишь о разграблении крестоносцами церковных богатств, ничего не говорит об увозе или уничтожении ими художественных ценностей, унаследованных Византией еще от языческого Рима. Очевидно, автор повести счел неудобным перечислить эти ценности как предметы идолопоклонства и поэтому не упомянул о них.

Верно названы в повести дни первого и второго штурма столицы крестоносцами; точно указывается дата избрания ими нового императора Латинской империи — 9 мая. Однако если в приведенных случаях нас не может не поразить историческая точность и достоверность, то, с другой стороны, в ряде случаев проявляется стремление автора повести к некоторой легендарности в передаче сообщаемого. Особенно явственно это усматривается в начале повести, когда изображается тайное бегство царевича Алексея из Константинополя на Запад от преследований своего дяди-узурпатора Алексея III. Рассказ повести обставлен сказочными подробностями и коренным образом расходится с тем, что мы узнаем об этих же событиях из сообщения Никиты Хониата. В „Истории" последнего мы читаем: „Между тем Алексей, без сомнения, по мысли своего отца, условился бежать с одним пизанцем, который командовал большим купеческим кораблем и только ожидал удобного времени ускользнуть морем и закрыть свой след водою. Когда удобное к отплытию время наступило, корабль распустил паруса и с попутным ветром благополучно прибыл в Авлонию на Геллеспонте. Отсюда с корабля отправлена была для принятия Алексея шлюпка в Афиру, по прибытии в которую матросы, чтобы скрыть свое настоящее намерение, начали нагружать песок, как будто бы нужный кораблю, по выгрузке его товаров, для балласта. Убежав сюда из Дамократии, Алексей сел на шлюпку и переехал на корабль. Бегство его скоро было замечено, и император приказал немедленно обыскать корабль; но посланные не могли узнать Алексея: он остриг себе в кружок волосы, нарядился в латинскую одежду, смешался с толпою и таким образом укрылся от сыщиков".[1]

Если сравнить рассказ Хониата с повестью, то можно предположить, что последняя основывается на устных народных сказаниях, распространившихся среди населения Византии по поводу тогдашних событий.

Точкой соприкосновения между обеими версиями можно считать слова Хониата: „закрыть след свой водою". Не лишено вероятия, что эти слова, взятые из какого-либо официального источника, понимались народной легендой буквально, в связи с чем и появился в повести эпизод о бочке с тройным дном.

Следы народных легенд в передаче повести заметны и в особой любви ее автора к сказочному числу „сорок": на сорока великих кораблях крестоносцы подплывают к Царьграду, после захвата ими столицы под престолом св. Софии они находят клад в сорок кадей золота, над алтарем Софии — сорок „великих кубков".

При сравнении с другими источниками обнаруживается в повести порой и хронологическая неточность, например, в сообщении о смерти императора Исаака Ангела. Хониат и другие указывают, что этот император умер лишь после того, как его сын Алексей был уже свергнут и заточен Мурцуфлом. Повесть же рассказывает о смерти Исаака до сообщения о восстании константинопольского народа против его сына как сообщника ненавистных иноземцев.

---

[1] Никита Хониат, ук. соч., стр. 268—269.

Но если такое построение повести противоречит хронологии, устанавливаемой на основании других свидетельств, то благодаря этому рассказ намного выигрывает в идейном отношении. Смерть Исаака представляется прямым последствием его огорчения по поводу насилий и бесчинств, творимых „фрягами", и вымогательства в требованиях выплаты обещанных им царевичем сумм. Не будучи в силах вынести оскорблений, Исаак „разболѣвъся, и бысть мних, и отиде свѣта сего". Здесь особенно выразительна трехчленная концовка, построенная на постепенном усилении значения подобранных автором слов и выражений.

Итак, хотя повесть и представляет значительную ценность в качестве исторического источника, не следует забывать о том, что она остается прежде всего художественным произведением, притом произведением именно русской литературы своего времени.

IV

Можно согласиться с утверждением автора очерка о повести в первом томе „Истории русской литературы", что язык повести не носит каких-либо следов иноязычного оригинала. Приведенные слова следует понимать в том смысле, что перед нами произведение, безусловно, не переводное и не компилятивное из каких-либо многих иностранных оригиналов, а самобытное творение русского автора; оно представляется единым и по идее, и по композиционным особенностям. Не исключается, однако, возможность использования автором повести некоторых иноязычных источников, а может быть, и устных рассказов византийцев и крестоносцев, с которыми ему приходилось лично общаться. Прежде всего обращает на себя внимание значительная прослойка в тексте повести лексики греческого происхождения. Большая часть ее относится к сфере церковной терминологии и принадлежит еще к пластам общеславянских заимствований, вошедших через церковную старославянскую книжность. К этому типу относятся слова: папа, София, монастырь, мних, патриарх, онбол (амвон), тябло, олтарь, олтарныя, тряпеза, понекадило, евангелье, иконы, философ, пискупы.[1] К этой же группе причислим слова: цесарь, корабль, фряг. Эти слова, разумеется, настолько крепко и широко внедрились в словарный состав древнерусского языка, что могли употребляться повсеместно и потому могут встретиться в любом русском памятнике, независимо от места его создания.

К другой группе заимствований из греческого следует отнести название зданий и местностей в Константинополе: подрумье (ипподром), Вергетис (название монастыря Ενεργετῆς), Испигас (название ворот, ведущих в пригород Пиги, Εἰς Πήγας), Лахерна (Влахернский дворец). Эти названия верно передают народно-разговорное произношение, обычное в той среде, где мог вращаться автор повести, живя в Константинополе. Эти же названия употреблял и Добрыня—Антоний в своем описании Царьграда.

К третьей группе слов относятся названия военных судов и их частей: галѣя, скала, дромон; сюда же примыкают: рая (раина-рея) и кадь (мера). Эти слова, частью заимствованные из итальянского языка в греческий, были тоже, несомненно, широко распространены

---

[1] См.: М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды, т. III. СПб., 1912, стр. 29, 76, 46, 180, 71 и др.

в народной речи византийского населения и поэтому могут служить лишним доказательством живой связи автора повести с демократическими кругами жителей византийской столицы. Кстати, название судна „галѣя“ уже в то время бытовало и в русском языке; оно встречается в Лаврентьевской летописи под тем же 1204 годом, в повествовании о походе князя Всеволода на волжских булгар. Обращает на себя внимание и выражение „первыи въ боярехъ“. Так в повести передано название сана, который Мурцуфл обещает своему сопернику Николаю Канову. Это выражение — очевидная калька с греческого πρωτοστράτορ или близкого к нему слова.[1]

С другой стороны, в повести можно усматривать и следы западноевропейского языкового воздействия в ряде мест, особенно когда перечисляются имена и титулы руководителей крестоносного ополчения. Так, Бонифаций маркграф Монферратский назван „маркус“, что может соответствовать итальянскому marchio, marchiso.

Это замечено было уже в 1-м издании Новгородской летописи, где в примечании приведена выдержка из словаря Дюканжа: „marchae, vel marchae, seu provinciae limitaneae praefectus“.

Любопытно, что родиной маркграфа назван город Верона, причем передано это название в немецкой форме — Берн (Bern) с пояснением: „иде же бѣ жилъ поганыи, злыи Дедрик“, т. е. Теодорих Остготский. Это наводит на мысль о знакомстве автора повести с каким-то немецким источником, возможно, с „Песнью о Нибелунгах“, в которой Теодорих, как известно, фигурирует под именем Dietrich von Bern. Форма же имени „Дедрик“, как кажется, свидетельствует о нижненемецком его произношении. Балдуин граф Фландрский назван повестью „Кондофъ Офланъдръ“ или „Кондофларендъ“. В первой части этого имени легко узнать итальянское conto — „граф“. Во второй же части обращает на себя внимание предлог of (в соответствии с верхненемецким von) — „of Flandern“. Не попали ли эти названия в повесть в результате непосредственного общения ее автора именно с фландрскими рыцарями-крестоносцами, со слов которых и были записаны имена их вождей?

Титул дожа Венеции Дандоло передан в форме „дужь“, что соответствует итальянскому Doge (при латинском и византийском — dux), заимствованному очень рано также и в древнерусский язык.

Все приведенные западноевропейские элементы лексики отражают прямое общение автора повести не только с греческим населением Царьграда, но и с „фрягами“, жившими в нем и до захвата крестоносцами и особенно умножившимися после основания Латинской империи.

Повесть сравнительно терпимо относится к крестоносцам и особенно старается отвести обвинения от римского папы и от немецкого императора. Дважды подчеркивается их запрещение рыцарям творить бесчиния в Греческой земле.

В то время как Хониат не жалеет выражений, чтобы обрисовать жестокость латинян, их грубые кощунства и поругания над памятниками византийской культуры, повесть говорит об ограблении ими лишь церковных ценностей. Может быть, это объясняется тем, что для Хониата со взятием Царьграда гибла независимость его родины, сам

---

[1] М. Р. Фасмер (ук. соч., стр. 161) отмечал, что „ряд греческих композитов (composita) с πρωτο настолько распространялся на русской почве, что стал притягивать к себе путем народного осмысления и другие слова“.

он терял положение и богатство, тогда как русский автор всё же наблюдал происходившие события со стороны, лично ими не задетый. Сообщение повести о том, что „фряги обладают“ Константинополем, указывает, не позже какого времени она сложена: такой гранью является 1261 год.

Большую долю вины в разгроме империи повесть приписывает венецианцам и, в частности, их дожу, который „много брани на град замышляше“. Такая оценка деятельности Дандоло и его сограждан в сравнении „*с крестоносными болванами*, которых немилосердно надули и которые вместе со своими неотесанными князьями были всего лишь орудием в руках этих торгашей (Geldmacher)“,[1] — вполне соответствует исторической действительности и лишний раз подтверждает политическую проницательность автора повести.

Специфически русским является не только стиль изложения повести; соответствует интересам русского народа и основная идея, вложенная автором в его произведение и бывшая несомненно важной и злободневной для тогдашней Руси: если Царьград пал вследствие „свады цесаревь“, то в этом заключен урок и для русских князей.

В своих описаниях автор повести обращает внимание прежде всего на то, что резко отличается от тогдашней русской действительности. Его поражают одетые в броню кони крестоносцев. Его ужасает византийская казнь посредством ослепления стеклом, при которой глаза остаются неповрежденными, но человек перестает видеть.

Стиль повести полностью соответствует, как правильно замечено в „Истории русской литературы“, стилю древнерусских летописей. Особенно заметно это сказывается в частом использовании прямой речи в качестве средства характеристики изображаемых лиц. Витиевата, напыщена и громоздка по синтаксическому построению увещательная речь римского папы, отрывисто заносчивы речи Исаковича, Мурцуфла, бояр. Напоминает летописные речи своим энергичным выражением рыцарской доблести высказывание крестоносцев под стенами Царьграда: „Оже нам нѣту Исаковиця, с ним же есме пришли, да луче ны есть умрети у Цесаря града, нежели съ срамом отъити“.

Функция приводимых речей тоже соответствует летописному стилю. В повести представлены не только военные речи, но и речи посольские, например, речь Мурцуфла „людем“, собравшимся в Софии: „Язъ ялъ ворога вашего Исаковиця. Язъ вашь цесарь, а Николѣ даю пьрвыи въ боярех. И сложи съ себе вѣнец!“.

Далее читаем типичную крестоцеловальную речь клявшихся сторонников Николая: „Кто отступит от Николы, да будет проклят“. Лаконичное, полное внутренней энергии построение речей, обилие в них исконно русской лексики вполне соответствуют построению аналогичных речей и во всех древнерусских летописях. Летописный стиль прослеживается и в описаниях боевых действий, когда мы встречаемся с точным употреблением воинской терминологии, обычной в древней Руси, например: „Оттоль начаша строити брань ко граду и замыслиша, яко же и преже, на кораблих раями на шьглах, на иных кораблих исъциниша порокы и лѣствиця, а на инѣх замыслиша свѣшивати бочкы черес град, накладены смолины, и лучины зажегше, пустиша на хоромы, яко же и прѣже, пожьгоша град“.

В этих описаниях всё типично для летописи: и лексика (с заборолы, порокы, стрѣлы, сулица), и динамичность в изображении боя.

---

[1] Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. V, стр. 197.

V

Повесть „О взятии Царьграда от фряг", вне всякого сомнения, следует признать памятником древнерусского литературного языка старшей формации. Структура языка, отразившаяся в ней, типична для периода его развития до татаро-монгольского завоевания. Изучению языка повести в целом должно быть посвящено специальное исследование. В настоящей статье я коснусь этой темы лишь постольку, поскольку с вопросом о некоторых особенностях языка списка *С* связано отнесение повести к новгородской литературе.

Большинство исследователей включают повесть в новгородскую по происхождению литературу, между тем это утверждение вызывает ряд сомнений.

Список *С*, как уже отмечалось, ни в коей мере нельзя считать протографом. Новгородская первая летопись, как было указано Б. М. Ляпуновым и А. А. Шахматовым, включает в себя довольно много сказаний, несомненно не новгородских, а южнорусских по своему происхождению: под 1210 годом — поход Всеволода на Рязань (Лаврентьевская летопись — под 1217 годом), под 1218 годом — повесть об убиении Глебом и Константином, князьями рязанскими, своих братьев (Лаврентьевская летопись — под 1217 годом), под 1224 годом — обширная статья о Калкском побоище, под 1230 годом — о землетрясении, ощущавшемся в южной Руси, и т. д.[1]

Источником перечисленных и ряда других статей А. А. Шахматов склонен был считать восстановленный им так называемый „Владимирский полихрон" начала XIV века. В настоящее время существование „Владимирского полихрона" не признается доказанным. В. Л. Комаровичем с достаточной вероятностью было выдвинуто предположение об использовании Новгородской первой летописью погибшего летописного свода рязанского князя Ингваря[2] в качестве одного из источников.

Как бы то ни было, не исключается возможность, что наша повесть попала в *С* из какого-либо не новгородского памятника. Язык повести, действительно, не содержит особенностей новгородской речи, и ряд явлений скорее указывает на ее южнорусское происхождение.

Правда, фонетическое оформление некоторых слов в списке *С* носит явно новгородский характер. Сюда отнесем довольно систематическую взаимную замену аффриката „ц" на „ч": „чесареви" (из „цесареви"), „сьлнчю" (2 раза); „Исаковиць" (9 раз), „Исаковицемь", „исьциниша" (из „исчиниша"), „привлече", „полуноци". Однако следует особенно отметить, что это явление мы наблюдаем только в списках Новгородской первой летописи, и то не вполне последовательно; что же касается списков Еллинского летописца и зависимых от него (например *М*), то они вовсе свободны от указанной особенности (один случай написания „Исаковицом" в списке *Б* может быть отнесен за счет следов позднейшей, уже в XV веке, переписки его рукой новгородского писца). Отражением новгородского произношения, возможно, являются написания: „хресты" вместо „крьсты", а также „гвозды" вместо „гвозди".

Следует отметить, что подобные же следы новгородской фонетики можно найти в других текстах списка *С*, явно не новгородских по своему происхождению, например, в повести о битве при Калке 1224 года: „половчи", „кобяковиць", „поця" (поча), „сѣця", „концяша" и др.

---

[1] Ср.: А. А. Шахматов, ук. соч., стр. 130—131.

[2] См.: История русской литературы, т. II, ч. 1, 1945, стр. 74—77.

Что же касается редкой лексики, употребленной в нашей повести, то и она не носит на себе отпечатка чего-либо специфически новгородского. Так, слово „мѣняшеть“ — „обещал“, „сулил“ — позднейшие списки заменяют более употребительным для своего времени „суляшеть“ (*А*), „овѣщавашеть“ (*М*). Слово с данным значением в „Материалах“ Срезневского не зарегистрировано. Подобное слово с приставкой „по“ и производное от него существительное „поменение“ нередко встречаются в древнерусском переводе „Истории иудейской войны“ Иосифа Флавия.[1]

Глагол „облупиша“, в *Б*, *Ч*, *А* замененный глаголом „обоимаша“ в значении „обобрали“, правда, встречается не раз и в Новгородской летописи, но не менее часто встречается он и в других памятниках, о новгородском происхождении которых не может быть и речи, например, в той же „Истории“ Иосифа Флавия: „живых рѣзаху, а гробныя лупяху“, а также в Ипатьевской летописи под 6789 и 6791 годами.

Глагол „извременити“ (извременати) тоже находим в Ипатьевской летописи под 6660 годом.

Существительное „сънем“ (в значении „сейм“) в Новгородских памятниках не встречается. В южнорусских же летописях он обычен именно в данном значении, например, в Ипатьевской летописи под 6605, 6656, 6664, 6673 и 6676 годами. Также часто встречается в южнорусских летописях „свада“ в значении „ссора“ (Ипатьевская летопись, под 1203 г.). Слово „погодье“ в повести употребляется в значении „благоприятная погода“. Еще В. И. Даль заметил: „На юге, западе «погода» нередко значит «вёдро» — хорошее, ясное, сухое время“. В таком же значении оно употреблено в Лаврентьевской летописи под 6736 годом.

„Безусловно северным“ морским и речным термином признавалось существительное „шьгла“.[2] Однако такое „безусловное“ его географическое приурочение не вполне подтверждается данными древнерусских памятников и современного словоупотребления.

В „Материалах для словаря древнерусского языка“ И. И. Срезневского для использования слова „шьлга“ (шьгла) приводится только одно значение (по Далю), а именно: „лестница в одно бревно с вырубками или набойками“, причем в качестве иллюстрации, кроме данного места повести, цитируется „Послание о рае“ Василия Новгородского: „Повелѣша единому другу своему взыти по шеглѣ на гору ту“.

Между тем, слово это имеет много значений, основное из которых — „мачта на корабле“, подходящее и для нашего текста. Распространено оно было широко и в прошлом и даже сейчас встречается в говорах в различных фонетических вариантах: шьгла, шегла, шегила, шогла, щегла, шелга, шылга и т. п.

В словаре Даля приводятся между прочим и такие значения: дерево, бревно, лесина, целое голомя, шест для флага, для подъема значка; шест, жердь, коею проводят невод под лодкой, шест, на котором подвешивают или ставят скворешню, и т. д. В отношении территориального распространения его Даль дает пометы: „волог., нижег., волж.“ и др.

Лично нам пришлось слышать это слово в Чкаловской области. Зарегистрировано оно и в украинских говорах.[3]

---

[1] V. M. Istrine. La prise de Jorusalem. Paris, 1934, t. I, стр. 19, 34—38, 62; t. II, стр. 60, 17, 149, 34, 193, 15.

[2] См.: Ученые записки Ленинградского Государственного педагогического института им. А. И. Герцена, т. 20, 1949, стр. 267—278.

[3] См.: Програма для збирания матеріалів до Діалектологічного Атласа Украинської мови. Київ, 1948, стр. 34.

Наконец, ближайшую лексическую параллель к интересующему нас месту можно найти в той же „Истории“ Иосифа Флавия. Там рассказывается о стенобитном орудии-таране: „И поставиша овенъ, еж есть древо велико и толъсто, подобно шеглѣ корабльнои, а в конець ж его всажено железо велико, рогато, имь ж и овенъ наречется“.

Таким образом, бесспорно, что характерная лексика, использованная в повести, не содержит в себе ничего специфически новгородского и скорее ведет нас к словоупотреблению, свойственному южной Руси того времени. К этому же выводу приводят и некоторые наблюдения над грамматическими особенностями языка повести.

Так, обращает на себя внимание большое количество глагольных форм имперфекта 3-го лица единственного и множественного числа с флексией „ть“: хожашеть, учашеть, мышляшеть, бьяхуть и т. п. Из общего количества 30 имперфектных форм 3-го лица в тексте повести такую флексию имеют 15. В то же время в Новгородской летописи вообще подобные формы очень редки. Это подтверждает положение, высказанное еще в 1852 году П. А. Лавровским и в последнее время поддержанное Л. А. Булаховским[1] и П. Я. Черных,[2] что флексия „ть“ для формы 3-го лица имперфекта не характерна для новгородских и вообще для северных письменных памятников и является признаком южнорусского происхождения того текста, в котором она встречается и преобладает. Подобное же наблюдение, может быть, следует сделать и относительно формы родительного падежа множественного числа существительного с основой на „іо“: кораблевь, цесаревь. В Новгородской летописи по списку *С* подобная форма не обнаружена. В Новгородских грамотах попадаются лишь два случая с флексией „евь“: „купчев“, „купцев“; все остальные формы без флексии „евь“. Между тем, в „Истории“ Иосифа Флавия это наиболее частая форма: царевь, властелевь, дневь и т. п.

Таким образом, и по языковым особенностям памятник не следует считать специфически новгородским. Отпадает также, как показало исследование, необходимость предполагать заимствование повести в Еллинский летописец из Новгородской летописи. Лучшая порою сохранность текста повести в списках Еллинского летописца, чем в *С*, это подтверждает. Если мы учтем, что, по указаниям В. М. Истрина и А. А. Шахматова, Еллинский летописец уже существовал в 30-х годах XIII века (в добавление к чему следует указать на связь с Еллинским летописцем ряда летописных известий, восходящих, вероятно, к Ростовскому своду, как, например, рассказ о Липицкой битве под 1216 годом в Софийской летописи и др.), то предположение о путешествии повести из Царьграда в Новгород, а оттуда уже на восток Руси, где, видимо, сложился Еллинский летописец, следует признать невероятным.

Нужно еще указать, что как в рукописях Новгородской летописи (списки *К*, *А*, *Т*), так и во всех списках Еллинского летописца рассказ повести дублируется краткими сообщениями о тех же событиях; это может указывать на позднейшую вставку повести и в Новгородскую летопись и в Еллинский летописец из какого-либо общего, вероятно, южнорусского по происхождению и бытованию памятника.

---

[1] Л. А. Булаховский. „Слово о полку Игореве“, как памятник древнерусского языка. Сборник статей „Слово о полку Игореве“, изд. АН СССР, 1950, стр. 136.

[2] История культуры древней Руси, т. II, стр. 119.